

Р_ж 1374161

«Мы сказки любим все.

Мы – дети, но большие.

Что в истине пустой?»

К.Батюшков

«Батюшкову немного недоставало,

чтобы он мог переступить черту,

отделяющую талант от гениальности»

В.Белинский

Владимир Аринин

Вячеслав Кошелев

МОЙ ГЕНИЙ

Драма о страстиах и тайнах поэта и романтика

Константина Батюшкова

Новый вариант драмы В.Аринина и В.Кошелева

«Мой гений», впервые поставленной в Вологде, в Драмтеатре,

21 марта 1982 года.

Пьеса и спектакль посвящены светлой памяти первых постановщиков
пьесы – народного артиста России, лауреата Государственной премии

Игоря Олеговича Горбачева

и драматурга и режиссера - *Геннадия Соловского*

Музыка «Батюшковского вальса» и романса «Мой гений» написаны
специально к первой постановке пьесы лауреатом Государственных
премий – *Валерием Александровичем Гаврилиным*

Действующие лица

БАТЮШКОВ
АННА ФУРМАН
АНТОН ООМ
РАЕВСКИЙ
ЯКОВ
ДОМНА
АНФИСА

Пролог

В вологодской квартире у окна спиной к зрителю стоит Батюшков, как бы отвернувшись от всего мира. Сцена повторяет рисунок поэта и художника Н.В.Берга, сделанный во время его поездки в Вологду в 1847 году, на котором изображен бывший уже больным Батюшков.

Появилась Анна Фуман. Она садится за стол, начинает писать, размышая вслух. Анна и Батюшков разделены временем и расстоянием: она – в Петербурге, он – в Вологде.

Возникла мелодия. Детский голос поет: «О память сердца, ты сильней рассудка памяти печальной». Мелодия обрывается.

АННА: О память сердца... Я решилась, да, да решилась написать свои воспоминания о Константине Николаевиче Батюшкове, но смогу ли я это? Сомнения берут меня. Смогу ли я, сумею ли правдиво рассказать о прекрасном поэте нашем, столь несчастливым в своей участи? Ах, это так непросто. И между нами – огромное пространство: Батюшков болен, он в далекой Вологде, а я в Петербурге. И даже увидеться невозможно. Но вчера я была в гостях у Бергов. И Берг (а ведь он сам такой тонкий художник и поэт) показал мне свой рисунок, сделанный им во время поездки в Вологду. На рисунке Константин Николаевич в вологодской квартире стоит у окна и смотрит в окно, словно отвернувшись от всего мира, его окружающего. Но сам Берг говорит, что не нашел ни малейшего следа безумия на благородном и смиренном лице Константина Николаевича. Напротив, его лицо, по словам Берга, очень умно, Константин Николаевич много читает и рисует. И на его рисунках чаще всего одно изображение: белая лошадь пьет воду, с одной стороны деревья, раскрашенные разными красками – желтой, зеленои и красной (представьте – красные деревья), с другой стороны – замок, вдали море с кораблями, темное небо и бледная луна. Во всем этом есть какая-то тайна (задумалась).

БАТЮШКОВ (обернувшись): Красные деревья. Темное небо. Бледная луна. Или мне это лишь видится? Но кто я такой? Не знаю... не помню... Ах, вспомнил! Сознание прояснилось, со мной такое бывает. Ведь я — Константин Николаевич Батюшков. Я был поэт и писал стихи. А где я сейчас? В Вологде? Или в Хантоново любимой усадьбе моей? В Хантонов приехал приказчик из Череповца. И надо продать ему дворовую девку. Или это было уже давно? Или сейчас? И надо продавать девку, надо (уходит).

АННА: Ах, мне почудилось, что он прошел перед моими глазами. Но с чего мне начать? Может, с того, как состоялось то самое злополучное pari и как Батюшков продавал дворовую девку?... И возникло pari. Нет, повременю. Впрочем, тогда, более тридцати лет назад с этого pari и с продажи девки многое началось (уходит).

Картина 1-я

Действие переносится на более чем тридцать лет назад.

Деревня Хантоново близ Череповца. Комната Батюшкова. Входят Батюшков и его дворовый Яков.

ЯКОВ: Дак ведь не продавали вы дворовых, Константин Николаевич. Всяко бывало. А не продавали.

БАТЮШКОВ: Сам знаю — не продавал. Только у меня долги. И жить надобно. А ильинский барин двести рублей дает. При моих-то долгах — зε одну девку. И сирота она... Где приезжий-то?

ЯКОВ: В гостиной с сестрицами вашими разговаривает...

БАТЮШКОВ: Проси. И купчую — скорей.

ЯКОВ(в дверь): Милости просим, к барину. Пожалте. (входит Оом).

ООМ: Здравствуйте, любезнейший Константин Николаевич.

БАТЮШКОВ: Прошу садиться, Антон...

ООМ: Генрихович.

БАТЮШКОВ: Прошу садиться, Антон Генрихович. Весьма благодарен за почту, вами привезенную...

ООМ: Почтмейстер в Череповце просил вам доставить. А я лично рад услужить вам, Константин Николаевич.

БАТЮШКОВ: Вот как... Еще раз – спасибо. Ну да к делу... Яков, введи девку (Яков уходит). Я уже знаю – сосед наш поручил вам совершить купчую, так ли?

ООМ: Точно так-с...

БАТЮШКОВ: Вот и хорошо... Приступим... Садитесь за стол... Прошу.

ООМ: Благодарю. (Оом садится за стол, раскладывает какие-то бумаги. Яков вводит Домну).

ЯКОВ: Вот она барин... Подойди, подойди к барину. Не бойся.

БАТЮШКОВ (он растерян, не знает с чего начать): Значит, ты Домна?

ДОМНА: Домна, барин...

БАТЮШКОВ: Ты, говорят, сирота?

ДОМНА: Сирота, барин.

БАТЮШКОВ: Мне тебя продать надобно. Недалеко отсюда – в Ильинское.

ДОМНА: Воля ваша, барин.

БАТЮШКОВ: Воля моя, да ты-то как?

ДОМНА: Я подневольная. (пауза)

БАТЮШКОВ: Так. А где это ты с Ильинским барином познакомилась, что он за тебя двести рублей дает?

ДОМНА (помедлив): Они-то без вас к барыням ездили, а я им постель стелила...

БАТЮШКОВ: И что?

ДОМНА: Они приставали (с вызовом). А я убегала... У него девок-то много в усадьбе, сказывают... Не губи, барин! Не хочу я туда! Худо мне там будет, барин!

БАТЮШКОВ: А здесь тебе лучше?

ДОМНА: Свое здесь все, барин, родное все! И лес, и речка, и ... вы.

БАТЮШКОВ: Что я? (Домна молчит) А я-то чем лучше Ильинского барина?

ДОМНА (убежденно): Вы хороший, барин.

БАТЮШКОВ: А откуда ты сие знаешь? Чего ты выдумываешь?

ДОМНА: Я знаю... Я не выдумываю...

БАТЮШКОВ: Так... А еще что ты про меня знаешь?

ДОМНА: Вы – военный...

БАТЮШКОВ: А еще что?

ДОМНА: И пишите все... Стихи, говорят, какие-то...

БАТЮШКОВ: О, господи... Но пойми ради Бога – мне деньги нужны.
Господин подъячий, прошу купчую.

ООМ: Извольте, сударь.

БАТЮШКОВ (берет купчую, внезапно рвет ее, кричит): не продается девка!
Яков!

ЯКОВ: Тут я, барин.

БАТЮШКОВ: Ее оставить в дворне. Продавать не будем. И сестрам скажи...

ЯКОВ: Слушаю.

ДОМНА: Пожалел меня, барин! В ноги брошусь!

БАТЮШКОВ: Не смей – в ноги. Ступай! С тобой покончено. И ты, Яков,
ступай. (Домна и Яков поспешно уходят). Извините, Антон Генрихович.
Купчай не будет... Извините великодушно.

ООМ (собирает бумаги): Не стоит извинений, Константин Николаевич. Я все
понял...

БАТЮШКОВ: Вы...не озадачены?

ООМ: Я не озадачен. Я ведь имел о вас заранее, Константин Николаевич,
представление. И к неожиданностям был готов.

БАТЮШКОВ (удивленно): Вот как? Тогда у меня к вам – новая
неожиданность: такой вопрос – простите, вы по национальности кто
будете?...Эдакая редкая фамилия.

ООМ: Я – эстляндец, из Ревеля.

БАТЮШКОВ: А как же в наших краях?

ООМ: Фортуна, знаете...

БАТЮШКОВ: Вот и меня фортуна носит и носит. Как видите, теперь в деревню забросила.

(Молчание. Оом смотрит на Батюшкова настороженно. Батюшков – с легкой иронической улыбкой).

ООМ: И как вы – здесь в глуши, Константин Николаевич? После Москвы, после Петербурга, вы везде живали, вам не скучно здесь?

БАТЮШКОВ: Отнюдь, сударь, отнюдь. Мне здесь не скучно. Я люблю, признаюсь, свою деревню. Это – мои пенаты, обиталище, как говорили римляне, моих домашних богов. Я о том даже послание написал. Вот извольте послушать хотя бы немного

Отечества пенаты
О пестуны мои!
Вы златом не богаты
Но любите свои
Норы и темны кельи,
Где вас на новесельи
Смиренно тут и там
Расставил по углам
Где странник я бездомный
Всегда в желаньях скромный
В сей хижине убогой
Стоит перед окном
Стол ветхой и треногой
С изорванным сукном
Здесь книги записные
Там жесткая постель
Все утвари простые
Вся рухлая скудель
Скудель! Но мне дороже,

Чем бархатное ложе

И вазы богачей.

БАТЮШКОВ: Что вы об этом думаете, Антон Генрихович?

ООМ: Я думаю, сие – пиитический образ. А на самом деле - выдумка и праздность.

БАТЮШКОВ (с иронией): Нет, нет, могу вас заверить вас, Антон Генрихович, я не празден. Посудите сами. В сутках 24 часа. Из оных 10 или 12 я пребываю в постеле и занят сном и снами. Один час – курю табак. Один – одеваюсь. Три часа – упражняюсь в искусстве убивать время. Час – обедаю. Час – варит желудок. Четверть часа смотрю закат солнечный. Час употребляю на воспоминание друзей. Три четверти часа занимаюсь собаками, а они есть живая практическая дружба. Их у меня по милости небес три: две белых, одна черная. Полчаса перевожу Тасса, полчаса в том раскаиваюсь. Три часа зеваю в ожидании ночи. Заметьте, любезнейший, что все люди ожидают ночи, как блага. Итого 24 часа. А вы живете не так, сударь?

ООМ: Не так, Константин Николаевич...

БАТЮШКОВ: А как же? Поучите.

ООМ: Я человек практический. Чиновник. Много работаю.

БАТЮШКОВ: И вы довольны своей участью?

ООМ: Не вполне.

БАТЮШКОВ (насмешливо): Вы заслуживаете лучшей участии? Не так ли?

ООМ (насмешливо): Вполне возможно. И потому у меня к вам комиссия, которую, надеюсь, вы исполните.

БАТЮШКОВ: Ко мне – комиссия? О чём же можно просить...меня?

ООМ: Вы позволяете, Константин Николаевич, как я понимаю, иронию. Я ценю поэтическую иронию. И о ваших поэтических успехах наслышан. Хотя, извините, стихов не читал.

БАТЮШКОВ: Итак, Антон Генрихович, у вас ко мне просьба. Говорите прямо.

ООМ: Скажу прямо. Мне известно, что у вас большие связи в Петербурге. Полагаю, о вас даже государь знает. Вы вхожи в дома сильных мира...

БАТЮШКОВ: Смею прервать вас, любезный. Вхож как поэт, не более.

ООМ: Главное вхожи.

БАТЮШКОВ: Что ж из того?

ООМ: Мне нужно место, любезнейший Константин Николаевич. Не сидеть же век в череповецких лесах!... Я имею трудолюбие, но - увы! - не имею связей. А в наш просвещенный век... Конечно, какой вам резон хлопотать о некоем Ооме? Но я со своей стороны... Вы меня пронимаете?

БАТЮШКОВ (с неудовольствием): Что – с вашей стороны?

ООМ: Я осведомлен о состоянии вашей усадьбы. Простите, но я догадываюсь о вашем стесненном положении.

БАТЮШКОВ: Договаривайте, Антон Генрихович! Мое положение не просто стесненное, как вы деликатно выразились. У меня долги и долги. У меня – будем откровенны – всех капиталов один серебряный рубль, да и тот как память о шведском походе... А вы... что же: череповецкий Крёз? И можете меня облагодетельствовать?

ООМ: Я не богатый человек, Константин Николаевич. Но могу предложить небольшую сумму... взаймы.

БАТЮШКОВ: Вы имеете богатых родственников?

ООМ: Нет, я просто скопил от трудов...

БАТЮШКОВ: Это на секретарское-то жалованье? Или на бескорыстные воздаяния благодарных просителей? Я вас недооценивал...

ООМ (оскорблена, но сдерживается): Я думаю, ежели я сейчас буду доказывать свою честность, вы мне не поверите. Но пред собой я чист, и та сумма, кою я надеялся отдать вам, есть итог того, что я три года отказывал себе в лишнем куске. Посему, не смею задерживать (встаёт, собираясь уходить).

БАТЮШКОВ: Постойте. Мы еще не закончили беседы, и я еще не сказал вам «нет». Допустим, я возьму ваши деньги. Без векселя, не так ли? А потом –

обману. И не достану вам ни места, ни связей. Ведь это просто по нынешним временам, как вы изволили выражаться.

ООМ: Объясню. Во-первых, у меня нет иного выхода. Во-вторых, я обращаюсь к вам, ибо я расчетлив. Любой из здешних вельмож мог бы обмануть меня, но не вы. Я вас достаточно изучил.

БАТЮШКОВ: Надо же – меня можно изучить. Итак, ваша цель?

ООМ: Занять достойное место в обществе.

БАТЮШКОВ: Вы полагаете, это вам удастся?

ООМ: С вашей помощью – несомненно.

БАТЮШКОВ: А что же я сам? У меня самого ничего нет. А вы – невероятно! – с моей помощью собираетесь чего-то достичь...

ООМ: Все может статься.

БАТЮШКОВ: Это становится интересным. Предлагаю вам пари, Антон Генрихович. Испытаем фортуну. Кто из нас в жизни добьется большего? Вы имеете цель – я не имею. Вы умны, я – тоже, только еще с талантом поэта. Как вы смотрите на такое пари?

ООМ: С удовольствием заключу его, Константин Николаевич.

БАТЮШКОВ: А вы мне нравитесь, Антон Генрихович. Хотя я имел противу вас предубеждение. Но своей откровенностью вы мне понравились.

ООМ: Именно на это я и рассчитывал.

БАТЮШКОВ: Я тут перед вами себя сущим ленивцем обрисовал. Вы – человек дела. И мне, признаться, сейчас как-то неловко стало. И впрямь, что значит моя лень? Лень человека, который целые ночи напролет просиживает за книгами, пишет, читает или рассуждает. Если б я строил мельницы, пивоварни, продавал, обманывал и исповедовал, то, верно бы, прослыл честным и притом деятельным человеком. Не так ли?

ООМ: Все так. Но вы никогда не научитесь строить мельницы и пивоварни. И никогда не будете в ладу с нашим веком.

БАТЮШКОВ: И это еще одна правда обо мне! «О век железный!» Эта суэтность, этот холод к дарованию и уму, это уравнение сына Фебова в

сыном откупщика... это меня бесит! Но... Антон Генрихович, я не обижаю вас снова?

ООМ: Нимало.

БАТЮШКОВ: Тогда довольно рассуждений! Едемте. На ваши деньги, но – в Петербург! Яков! (входит Яков). Поездку готовь. В Петербург едем. И надолго. А рекомендацию я вам дам – к Алексею Николаевичу Оленину. Слышали про такого?

ООМ: Как же... важный сановник, при дворе принят.

БАТЮШКОВ: Прежде всего не сановник, а ученый, художник, литератор «тысяческусник». Но да вам-то все равно. Только смотрите – не влюбитесь. В доме Олениных – красавица на выданье...

ООМ: О дочери Олениных изволите шутить?

БАТЮШКОВ: Их дочь Анета еще слишком мала. А в доме есть другая, Анна, постарше. Воспитанница, сирота. Ах, какая это девушка!

ООМ: Не смею даже представить.

БАТЮШКОВ: И вот относительно ее, Анны, никакого пари у нас с вами быть не может. Итак, в Петербург! (уходят, появился Яков с дорожным сундуком, начинает складывать в сундук книги со стола).

ЯКОВ: Сперва надобно книги со стола сложить. В любую поездку их берет. Домна! (появилась Домна).

ДОМНА: Чего, дядя Яков?

ЯКОВ: Помоги-ка сложить книжки в дорогу. Небось, совсем обалдела от радости, что тебя не продали?

ДОМНА: Не говори, дядя Яков. Слов нет – как рада.

ЯКОВ: А ведь это я за тебя заступился. Я сказал барину – не надо такую девку продавать. Потому с тебя мне причитается.

ДОМНА: Что причитается?

ЯКОВ: А вот что (обнимает ее).

ДОМНА: Зачем вы эдак, дядя Яков? (отскочила от него).

ЯКОВ: А вот вернусь из Петербурга, узнаешь зачем. А теперь я тоже в Петербург!

Картина 2-я

Звучит Батюшковский вальс Валерия Гаврилина. Приютино, дача Олениных под Петербургом. За стеной – музыка, смех, там гости. Появилась восемнадцатилетняя Анна Фурман. На голове у нее венок из цветов. Она радостна, возбуждена, напевает, танцует.

АННА: Ах, как мне хорошо! Как весело!

Сейте розы на пути

Скажем юности – лети!

Константин Николаевич! Константин Николаевич! Сюда! Идите сюда! Идите же!

БАТЮШКОВ (входя): Меня зовет царица вечера. Я счастлив!

АННА: Присядьте в кресло.

БАТЮШКОВ: Зачем?

АННА: Я прошу... (Батюшков садится в кресло) Вот так. Правда, что это кресло немного похоже на трон?.. Сегодня я – царица вечера – слушайте мою царскую волю. За вашу пьесу «Радость», нам прочитанную, я объявила вас царем поэтов! (снимает с себя венок и одевает Батюшкову на голову).

БАТЮШКОВ: Нет для меня высшей награды!

АННА: Ай, нас кто-то подслушивает! (Бросается к портьере, смотрит за нее. Сышен топот убегающих маленьких ног).

БАТЮШКОВ (вскакивает): Кто это?

АННА (смеется): Я так и знала! Маленькая Аннушка Оленина. Шалунья... Подсматривала! Что ж вы встали с трона Константин Николаевич? И почему так смущены? И венок с головы сняли.

БАТЮШКОВ: Я... Анна Федоровна... Мне нужно многое сказать вам.

АННА: Не нужно, Константин Николаевич! Ведь я к вам от чистого сердца.
Как поклонница вашей поэзии. Ваша поэзия так радостна и прекрасна...

БАТЮШКОВ: Анна Федоровна, это вы – прекрасны. И потому – жизнь так прекрасна.

Отгоните призрак славы!

Для веселья и забавы

Сейте розы на пути;

Скажем юности лети!

АННА: Но, Константин Николаевич.

БАТЮШКОВ: Что – но?

АННА: Я давно хочу спросить вас, Константин Николаевич: почему вы пишите о нимфах и дриадах, о какой-то придуманной Лилете, почему вы не пишите о том, что вокруг нас... о действительном?

БАТЮШКОВ: Для действительности у меня есть только сатиры.

(Внезапно появился Оом, он не рассчитывал в этой комнате увидеть Батюшкова и Анну, они его не видят, он прячется за колонну).

АННА: Но отчего?

БАТЮШКОВ: От того, что действительность наша мне не по душе. Кто герои ее? Я знаю, вижу их. Это – златые болваны, господчики, вельможи, обер-секретари и откупщики. Нет уж, лучше я буду писать о нимфах и вакханках! Но мне известно – не всем моя поэзия по душе. У иных она вызывает раздражение.

АННА: Я знаю... Александр Семенович Шишков противу вас.

БАТЮШКОВ: Это я – противу адмирала Шишкова и его литературного общества. И борюсь, как могу со староверами-славянефелами.

АННА: Но ведь это ж вредит вам в жизни. Почему вы это делаете? Во вред же себе.

БАТЮШКОВ: Потому что, Анна Федоровна, быть может, в наше время решается судьба всей российской словесности. Какой ей быть? Живой, свободной? Да, свободной – в любых темах, любых чувствах! Или

выражаться напыщенным словенским языком и ходить в лакейской ливрее! Более того, я надеюсь, что жизнь еще может перемениться к лучшему.

АННА: И все же вам надо б быть поближе ко всему земному, ко всему русскому. Ведь Шишков и его люди – о чистоте русского языка пекутся.

БАТЮШКОВ: Начинают-то они вроде с защиты русского языка. А далее – объявили новейших литераторов якобинцами, смутьянами. Мы, мол, устоев русских не имеем. Мы, мол, даже врагу отечества Наполеону готовы ворота открыть. Вот почему, Анна Федоровна, я борюсь со староверами. Я – за свободу в литературе, я – за Прекрасное. Вот правило русского поэта – живи как пишешь и пиши, как живешь.

АННА: Вы мечтатель, Константин Николаевич.

БАТЮШКОВ: А вы?

АННА: Я – дитя своего века.

(Оом, невольно подслушавший этот разговор, пятится, незаметно уходит).

БАТЮШКОВ: Нет. Просто вы, мне кажется, сами еще не знаете себя. И вот сейчас я вас в чем-то уже убедил, вы уже соглашаетесь со мной. Я вас знаю, вы особенная девушка, Анна Федоровна. О, не случайно вы – любимица Державина, ученица моего друга Гнедича, не случайно вас ценит Крылов. Я знаю, вы умеете чувствовать. Вы понимаете меня и мои стихи. Впрочем, быть может, я сам чего-то не понимаю... Но меня влечет к вам неудержимо. (Подходит к ней).

(Вбегает Яков)

ЯКОВ: Барин... Идите в гостиную...

БАТЮШКОВ: Яков, как ты сам посмел?

ЯКОВ: Барин, я потому посмел... В гостиной депешу читают. Токо депеша пришла. Война, барин, Наполеоново нападение, барин. Война!

Картина 3-я

Прошло более года, позади Бородино, пожар Москвы, изгнание Наполеона из России. Война переместилась на поля Европы.

Но на даче Олениных Приютово ничего не изменилось. Сейчас в знакомой нам комнате Оом. Он вне себя.

ООМ: Проклятая война! Кровавое Бородино, пожар Москвы, изгнание Наполеона. Теперь с ним в Европе воюют. Но я-то тут причем? Пускай воюют. А у меня карьера налаживается. И вот тебе – призывают в ополчение. Да не хочу я воевать! Зачем это мне? Для меня это – катастрофа! Надо что-то делать! Надо спасаться от армии. Но как? Может, Аннет поможет? Должна помочь. Вот и она. (Входит Анна).

АННА: Антон Генрихович, я хочу поделиться с вами, я только что получила письмо от Батюшкова. Из Германии, из действующей армии. Вначале письма он, представьте себе, сетует, что болезнь помешала ему участвовать в Бородинском сражении и изгнании Наполеона. Но зато теперь они изгоняют Наполеона из Европы. И он, Батюшков – представьте себе – адъютант генерала Раевского, самого Раевского, прославленного нашего героя. И что еще меня взволновало, он в письмо вложил послание – о войне. Удивительное сочинение. Вот послушайте.

Мой друг! Я видел море зла
И неба мстительные кары:
Врагов неистовых дела
Войну и гибельны пожары
Я видел сонмы богачей
Бегущих в рушицах израных
Я видел бледных матерей
Из милой родины изгнанных
Я на распутье видел их,
Как, к персям чад прижав грудных,

Они в отчаяньи рыдали
И с новым трепетом взирали
На небо рдяное кругом
Трикраты с ужасом потом
Бродил в Москве опустошенной
Среди развалин и могил
Трикраты прах ее священный
Слезами скорби омочил.

Да вы не слушаете, Антон Генрихович? Вам это неинтересно?

ООМ: Нет, почему же. По-своему сие мне весьма интересно. И слушаю я с вниманием. Продолжайте, Анна Федоровна.

АННА (продолжает чтение):

Нет, нет! Пока на поле чести
За древний град моих отцов
Не понесу я в жертву мести
И жизнь, и к родине любовь,
Пока с израненным героем,
Кому известен к славе путь
Три раза не поставлю грудь
Перед врагов сомкнутым строем
Мой друг, дотоле будут мне
Все чужды Музы и Хариты
Венки, рукой любови свиты
И радость шумная в вине!

Каково? Даже меня, женщину, это послание о войне так взволновало.

ООМ: Но выходит, Батюшков готов отказаться от женщины, от любви – ради войны.

АННА: Ну что вы... Зачем вы так, зачем? И от любви он не отказывается. В письме есть элегия – как раз любовная и прелестная элегия. Читать я вам ее,

конечно, не буду. Извините. И это послание я вам прочитала под наплывом чувств. Забыв, что вы не охотник до стихов. Извините.

ООМ: Это вы меня извините, Анна Федоровна, действительно, я до стихов не охотник. А сейчас особенно – какие там стихи. Меня призывают в ополчение.

АННА: А вы не хотите воевать? В отличие от Батюшкова.

ООМ: Конечно, Анна Федоровна, я не хочу воевать. Я – не Батюшков. Он пошел на войну сам, добровольно. А у меня карьера только-только налаживается. И потому у меня к вам, Анна Федоровна, величайшая просьба – попросите Оленина обронить меня от ополчения. Спасите меня от армии.

АННА: Вот как?

ООМ: Уверяю вас – это имеет личное отношение и к вам.

АННА: Ко мне? Какое же это отношение?

ООМ: Я люблю вас, Анна Федоровна. Я очень хочу, чтобы вы стали моей женой. Я не смею пока вам сделать предложение. Но сделав карьеру, я сделал это, мечтаю сделать. Проверьте мне. Я добьюсь и богатства, и высокого положения в обществе. И все это отдам полностью вам.

АННА: Вы удивляете меня, Антон Генрихович. Выходит, я вас плохо знала.

И вы меня, Антон Генрихович, наверное, плохо знаете.

ООМ: Проверьте, Анна Федоровна, я очень хорошо вас знаю. Может, даже лучше чем, вы знаете сами себя. Конечно, в вас есть раздвоение, есть внутренняя борьба с самой собой. Но вы – земная женщина, Анна Федоровна. Вам нужны не эфемерные стихи о любви, а настоящая мужская любовь, мужская страсть, все нужно. Вот так (хватает ее, начинает ласкать, она растерялась, не сопротивляется, он пытается повалить ее на диван, она вырвалась).

АННА: Невероятно... Непостижимо... Не приближайтесь ко мне! Не смейте!

ООМ (падает на колени): Падаю ниц, Анна Федоровна! Не погубите!

АННА: Я попрошу Оленина, чтобы вас не призывали в армию. Из сочувствия к вам (ходит).

ООМ: Как все обернулось... Может, я дал промашку. Но она – чувствую – спасет меня от армии. Должна спасти. Эх, хорошо бы пока этот Батюшков доблестно воюет, хорошо бы улестить ее.

Картина 4-я

Какая-то усадьба недалеко от Лейпцига. В ней разместился генерал Раевский и его адъютант Батюшков.

(Входят Батюшков и Яков).

БАТЮШКОВ: Господи, далеко нас занесло, в Германию, под Лейпциг. И эта усадьба немецкая, хозяева коей сбежали от нас. Яков, я тебе говорил – наведи порядок в доме. Хоть на одну ночь, но должен быть порядок. Генерал Раевский это любит.

ЯКОВ: Дак я же старался, барин. Вон картину повесил.

БАТЮШКОВ: Какую картину? Что это?

ЯКОВ: С верхнего этажа, полуразрушенного принес. Голая баба, нимфа какая-то... Для развлечения.

БАТЮШКОВ: Ты же ее вверх ногами повесил. Снять.

ЯКОВ: Слушаю... А зря. Для развлечения оно – хорошо, действует.

БАТЮШКОВ: Много ты стал позволять себе. И главное, то что, бунтовать вздумал? Откуда ты взял – будто после войны воля крепостным будет? Чего это ты нес средь солдат у костра?

ЯКОВ: Барин, дак ведь мне такое сам полковник Петин, ваш наилучший друг сказывал.

БАТЮШКОВ: Петин на самом деле – лучший из друзей моих, но он – вольнодумец. И тебе его слушать не резон. Оно, конечно, освобождаем Европу, а в отечестве – рабство. Но прикуси язык. И меня, и Петина не подводи.

ЯКОВ: Господин Петин с коня перед отъездом упали. Такой наездник. А упал. Дурной знак, не к добру.

БАТЮШКОВ: Молчи! Не отлита еще та пуля. Мы вместе с Петиным три войны прошли – прусскую, шведскую и эту тоже. Души наши сроднились. И всякое бывало. Меня под Гельсбергом из груды трупов беспамятного вытащили. А жив.

ЯКОВ: Дай Бог.

БАТЮШКОВ: И дай бы Бог, чтоб все после войны изменилось. Чтоб к лучшему изменилось. Должно измениться. Не зря столько крови пролито. А теперь иди и помалкивай. Я вижу – генерал идет. Ступай.

(Яков уходит, появился Раевский).

РАЕВСКИЙ: Господин адъютант, вам срочное поручение. Отправляйтесь в тыл с этим пакетом (протягивает пакет).

БАТЮШКОВ: Ваше превосходительство, как же так. Я не имею права оставить вас перед сражением и избежать сражения.

РАЕВСКИЙ: Прошу не рассуждать!

БАТЮШКОВ: Ваше превосходительство, простите великодушно, но мне сдается, что вы это нарочно придумали, чтобы отправить меня в тыл.

РАЕВСКИЙ: Что? Что? Ты полагаешь, будто я нарочно?

БАТЮШКОВ: Да, полагаю, ваше превосходительство. (пауза)

РАЕВСКИЙ: Да, тебя не обманешь... Верно, хотел тебя не подвергать опасности. Ты – талант, Батюшков, ты нужен России. Не получилось у меня – не умею притворяться. Что ж, тогда садись, поговорим.

БАТЮШКОВ: Извольте.

РАЕВСКИЙ: Трудное завтра будет сражение. В двух ты держался молодцом, и я доволен тобой.

БАТЮШКОВ: Благодарю, ваше высокопревосходительство. Но, коли мы заговорили, разрешите задать вам потаенный вопрос?

РАЕВСКИЙ: Потаенный? Странный ты человек, господин поэт! Но что с тобой делать - спрашивай.

БАТЮШКОВ: Ваше высокопревосходительство, вы в моих глазах являетесь человеком, воплотившим в себе истинное геройство и достигшим высот

славы. Если можно, ответьте, что значит для вас, генерала Раевского, людская слава? Какое в ней значение?

РАЕВСКИЙ: Экий ты чудной, господин поэт! Но я отвечу, да... отвечу. Что ж, слава, как красивая любовница, очень приятна, но и очень утомительна. И, пожалуй, слишком дорога. К тому же она прихотлива и даже случайна. Пояснить подробнее?

БАТЮШКОВ: Да, я бы хотел... Для меня это важно.

РАЕВСКИЙ: Из меня сделали римлянина, милый Батюшков. А я – не римлянин. О моих истинных заслугах никто не говорит. О том, сколько я пролил крови за отчество никто не знает. И слава явилась ко мне случайно. Выдумали, будто я в бою под Дашковой принес на жертву детей моих... Придумали мне подвиг. А мой подвиг был под Смоленском. Когда у меня десять тысяч, а у французов – сорок тысяч. И я сказал своим гренадерам: «Братья, умрем, но не пропустим». И еще мой подвиг был при Бородине... Вот она – человеческая тщета. Меня превозносили за то, чего я не сделал.

БАТЮШКОВ: Но помилуйте, ваше высокопревосходительство, не вы ли, взяв за руки детей ваших и знамя, пошли на мост, повторяя: вперед ребята, я и дети мои откроем нам путь к победе?

РАЕВСКИЙ: Я так витиевато никогда не говорю, ты сам знаешь. Правда, я был впереди. Солдаты пятились, я ободрял их. По левую сторону всех перебило и переранило, на мне остановилась картечь. Но детей моих не было в эту минуту.

БАТЮШКОВ: Как? Где же они были?

РАЕВСКИЙ: Младший сын собирал в лесу ягоды. Он был тогда сущий ребенок, и шальная пуля ему задела панталоны. Вот и все тут, весь анекдот сочинен в Петербурге. Твой приятель, Жуковский, воспел в стихах.

БАТЮШКОВ (улыбаясь): Это из «Певца во стане русских воинов»:

Раевский, слава наших дней,

Хвала! перед рядами

Он первый, грудь против мечей,
С отважными сынами».

РАЕВСКИЙ: Жуковского тоже сбили с толку. А как все было? Оказался с озией под Дашковой приезжий журналистик из Петербурга. Отсиживался в лесу. Увидел простреленные панталоны моего сынишки и, воодушевившись, желая отличиться по возвращению в Петербург, сочинил небылицу. Граверы, журналисты, нувеллисты воспользовались удобным случаем, ее подхватили... И я пожалован римлянином. Вот как, Батюшков, пишут историю. Вот весь смысл ее, а верней – бессмыслица, обман.

БАТЮШКОВ: А как же пакет, ваше высокопревосходительство? Тоже обман?

РАЕВСКИЙ: Какой пакет? Да, это пустое (рвет пакет, смеется). Ты еще не спал, Батюшков?

БАТЮШКОВ: Никак нет.

РАЕВСКИЙ: Перед сражением надобно хорошенъко выспаться, господин поэт... Хотел бы я знать, как оно все сложится – завтра (уходит).

БАТЮШКОВ: Под Лейпцигом мы бились 4-го числа у красного дома. Направо, налево все было опрокинуто. Одни гренадеры стояли грудью. Раевский стоял в цепи мрачен, безмолвен. Дело шло не весьма хорошо... Французы усиливались, мы слабели, но ни шагу вперед, ни шагу назад. Минута ужасная. Я заметил изменение в лице генерала и подумал: «Видно, дела идут дурно». Он, оборотясь ко мне, сказал очень тихо, так, что я едва услышал: «Батюшков, посмотри, что у меня». Взял меня за руку и руку мою положил себе под плащ, потом под мундир. Второпях я не мог догадаться, чего он хочет. Наконец, и свою руку, освободя от поводов, положил за пазуху, вынул ее и очень хладнокровно посмотрел на капли крови. Я ахнул. Он сказал мне довольно сухо: «Молчи!» Еще минута, еще другая, пули летали беспрестанно: наконец, Раевский, наклоняясь ко мне прошептал: «Отъедем несколько шагов: я ранен жестоко». Отъехали. «Скачи за лекарем!» Я поскакал, наткнулся на двух инвалидов, зарывавших свежую

могилку. И с ужасом узнал – они похоронили бедного моего, лучшего моего друга – Петина. И это – как удар по сердцу. Петин убит – потеря для меня ужасная и невозвратная. Как я теперь буду без него? Но Наполеон был разбит.

Картина 5-я

На даче Олениных в Приютино. Анна Фурман и Оом.

ООМ: Слава Богу, война окончилась, наконец. И как я вам благодарен, Анна Федоровна, что вы уберегли меня от войны.

АННА: Не преувеличивайте мою роль, Антон Генрихович.

ООМ: Я и не преувеличиваю. В моей судьбе у вас – особая роль. Но простите, я хотел бы предостеречь вас. Относительно Батюшкова. Вернувшись с войны он от вас не отходит. А между тем, я вчера получил письмо из Риги от своего знакомого негоцианта Мюгеля, и он имеет претензии к господину Батюшкову.

АННА: Какие это претензии?

ООМ: Речь идет о дочери Мюгеля – Эмилии. Дело в том, что Батюшков попал в Ригу в дом Мюгелей после тяжелого ранения под Гельсбергом.. Это было еще в далеком седьмом году. Мюгели отнеслись к раненому офицеру со всей сердечностью, ухаживали за ним, выхаживали его. И особо это относилось к юной Эмили. Раненый офицер и поэт, конечно, поразил ее воображение. Между молодыми людьми, как легко себе представить, возникли нежные чувства. Он окреп, он писал ей романтические стихи, он объяснялся в любви. Говорил, что она – его первая любовь. Эмилия была счастлива. И ждала предложения. Но предложения не последовало. Выздоровев, Батюшков спешно покинул дом Мюгелей, вызвав самые тягостные чувства у них.

АННА: Антон Генрихович, не будем судить о том, чего знаем сами. Подобные чувства слишком тонки и сложны. Чтобы нам со стороны судить

об этом. Тем более – первая любовь. И зачем все это вы мне говорите? В чем вы меня предостерегаете?

ООМ: Простите, Анна Федоровна. Раскаиваюсь, что все это вам рассказал. Сорвался. Просто я сейчас слишком взволнован. У меня сейчас встреча с его светлостью. И мне уже пора.

АННА: Желаю успеха.

ООМ: Благодарю, еще раз простите (ходит).

АННА: А вроде бы порядочный человек.

(Входит Батюшков).

БАТЮШКОВ: Анна Федоровна, я снова к вам. Сvez свой портрет от Кипренского и опять в Приютино.

АННА: Говорят, вы совершили безумие. Отдали все деньги Кипренскому. Вам понадобился портрет. Удивительно – отдать все деньги, все свои военные сбережения.

БАТЮШКОВ: Но ведь Кипренский, Анна Федоровна, - замечательный талант. И он так нуждается.

АННА: Константин Николаевич, вы ведь тоже нуждаетесь...

БАТЮШКОВ: Анна Федоровна, хоть вы меня поймите. И не нужно про это.

АННА: Я, кажется, бесактна. Не буду, Константин Николаевич. Да присядьте вы! (Садятся). А мы вчера ягоды собирали в лесу – и попали под дождь. Я вся промокла... Наверное, я глупости говорю?

БАТЮШКОВ: Мне приятно слушать ваш голос, Анна Федоровна. И – мне всегда хорошо здесь, на даче Олениных, в Приютино. Когда едешь сюда из Петербурга, всего-то тут верст тридцать, - а каждую версту считаешь.

АННА: Я тоже люблю Приютино... Этих вечных гостей: художников, кавалергардов и поэтов. Ах, как много гостей! На даче семнадцать коров, а сливок к вечернему чаю вечно недостает...

БАТЮШКОВ: Анна Федоровна, а вы считаете дом Олениных своим домом? Впрочем, простите, я вызываю вас на откровенность.

АННА: А я снова отвечу вам. И буду откровенна, насколько смогу. Я не считаю дом Олениных своим домом. Нет, нет, не подумайте... Я сирота, у меня никого нет, и я люблю Олениных, как родных. Но все же я только их воспитанница. Вот подрастает другая Анна, родная дочь. Что потом? Я хотела бы иметь свой дом. Хотела бы найти себя саму. Что сейчас я собой представляю?...

БАТЮШКОВ: Я понимаю вас.

АННА: Правда? Но не молчите. Мне нравится, когда вы рассказываете! Расскажите о чем-нибудь.

БАТЮШКОВ: О чем?

АННА: О чем угодно. Вы так много путешествовали после войны.

БАТЮШКОВ: Не так уж много. После Франции - на несколько дней в Англию, а затем морем...

АННА: Вы, наверное, напишите о своих странствиях.

БАТЮШКОВ: Может быть. Впрочем, недавно я уже кое-что написал, Называется "Путешествие в замок Сирей".

АННА: Замок Сирей... Там когда-то жил Вольтер, да?

БАТЮШКОВ: Да, Вольтер... Восемьдесят лет назад.

АННА: Вы описали это в стихах?

БАТЮШКОВ: Нет, это проза, В виде дружеского послания.

АННА: Так рассказывайте, ради бога! Что с вами сегодня? Как вы попали в Сирей?

БАТЮШКОВ: Очень просто. Армия шла на Париж. Мы были близ Шомона, есть такой городок на севере Франции. Я заранее знал, что недалеко отсюда – замок Сирей, где жил Вольтер. А как не посмотреть вольтеровых мест?

АННА: А что вы там делали?

БАТЮШКОВ: Бродил по залам, сидел у мраморного камина, который согревал Вольтера, смотрел в окна, в которые он смотрел. И думал о женщине.

АННА: О женщине?

БАТЮШКОВ: О маркизе дю Шатле, хозяйке Сирея. Здесь, в этих залах, думал я, Вольтер стал владельцем наших дум. А ведь этого, представьте, могло не быть. Все могло быть иначе, и Вольтер мог не стать Вольтером. Вы знаете, его преследовали, его книги сжигали. Он был измучен совершенно. Что ждало его? Болезнь или безумие. Или даже гибель. И вот она, прекрасная нимфа Сирейская, маркиза дю Шатле, как волшебной палочкой прикоснулась к нему, и все изменилось. Она укрыла его в своем замке. Она одарила его своей любовью. И он стал писать. Он узнал тишину и покой. Он стал настоящим Вольтером. Он написал здесь великие свои сочинения. А ведь это все только она, только благодаря ей...

АННА: Я слышала, она ему изменяла.

БАТЮШКОВ: Что? Нет... я этого не знаю.

АННА: Маркиза дю Шатле изменяла Вольтеру.

БАТЮШКОВ: Я не хочу знать этого... И мне нет дела до маркизы дю Шатле... Я вас люблю, Анна Федоровна.

(Пауза. Звучит Батюшковский вальс Гаврилина)

АННА: Благодарю вас, Константин Николаевич.

БАТЮШКОВ: Я люблю вас. Давно.

АННА: Я знаю об этом.

БАТЮШКОВ: И я могу надеяться?

АННА: Да. Вы можете надеяться.

БАТЮШКОВ: Анна Федоровна! Анна!.. И вы согласитесь стать моей женой?

АННА: Да. Я согласна.

БАТЮШКОВ: Аннушка! (Подходит к ней, пытается обнять, она уклоняется от объятий, вбегает Оом)

ООМ: Анна Федоровна, Константин Николаевич! Тысяча извинений. Я прервал вашу беседу, - но у меня такое событие! Не в силах молчать. Я только что приглашен на должность. Да, да - при его светлости.

АННА: Антон Генрихович! Я так рада! Я очень, очень и очень рада за вас!

ООМ: Даже не верится. Ведь это ж - при дворе.

БАТЮШКОВ: Поздравляю вас, сударь. Благодаря вам, я кое в чем начинаю разбираться... Но наше пари еще не закончилось, не так ли?

ООМ: Какое сейчас пари, Константин Николаевич! От всего сердца говорю - вы можете всегда рассчитывать на меня. Я благодарен вам. (Обращаясь к Анне) А теперь... Анна Федоровна, мне надобно срочно увидеть Алексея Николаевича, Ведь я немедля увольняюсь со службы. Таковы дела.

АННА: Алексей Николаевич у себя в кабинете.

ООМ: Я не прощаюсь. И еще раз прошу меня извинить (уходит).

БАТЮШКОВ: Как странно - я рекомендовал его в ваш дом. И у него такие успехи. И всем он нравится... Анна Федоровна, он и вам нравится?

АННА: Смотря в каком смысле задан ваш вопрос. Конечно, он - не очень интересный человек. Но в житейском смысле - да, нравится. В нашем доме устаешь от стихов, рассуждений, всякой философии. А он видит вещи такими, какими они есть на самом деле. И он сделал свою карьеру своими руками.

БАТЮШКОВ: Это верно.

(Анна вплотную подходит к Батюшкову, видимо, ожидая, что он обнимет ее. Сейчас она решилась. Батюшков – отходит).

АННА: Я вижу, у вас переменилось настроение.

БАТЮШКОВ: Хочу снова спросить у вас, Анна Федоровна: вы согласны выйти за меня замуж? (подходит к ней)

АННА: Я снова скажу: да.

(Батюшков быстро обнимает ее. Анна инстинктивно вырывается: она не ожидала такого).

АННА: Какой вы, однако. Вы испугали меня...

БАТЮШКОВ: Как вы относитесь ко мне, Анна Федоровна?

АННА: (серьезно, глядя ему в глаза) Я очень уважаю вас... Но мне казалось, вы сами знаете, как я к вам отношусь. Особых эмоций я не питаю.

БАТЮШКОВ: Вы искренний человек, Анна Федоровна.

АННА: Я не считаю возможным лукавить с вами.

БАТЮШКОВ: Это делает вам честь. А мое поведение было безрассудно. Я возвращаю вам ваше слово. Прошу простить меня, но... я возвращаю вам ваше согласие. (пауза)

АННА (холодно): Вы отказываетесь от моей руки. Я правильно поняла вас?

БАТЮШКОВ: Вы достойны, чтобы выйти замуж по любви. (пауза)

АННА: Наша история получит огласку...Непременно.

БАТЮШКОВ: Я не мог...

АННА: Понимаю, вы не могли... Большинство мужчин, будь такая возможность, готовы сразу заполучить предмет своей страсти. Не утруждая себя знанием, разделяются ли их чувства. А вам нужно большее. Вы искали во мне свою мечту? И не нашли? Я оказалась земной девушкой, Константин Николаевич.

БАТЮШКОВ: Мы увидимся еще с вами, Анна Федоровна?

АННА: Зачем. Константин Николаевич. Все прояснилось. Отношения шли к счастливой развязке. Оленины подыскали бы для вас приличествующую службу. И я была бы вам верной подругой. Я победила бы ваше одиночество... Но вы захотели любви. Я не могу обманывать вас. К сожалению, я вас не полюбила...

Картина 6-я

Хантоново. Зимний вечер. Домна хлопочет у стола, напевает.

ДОМНА: Уж ты ночка, ты ночка темная

Уж ты темная ночка зимняя

Нет у ноченьки светла месяца

Нет у ноченьки частых звездочек.

Нет у девицы родного батюшки

Нет у девицы родной матушки

Никому-то я не нужна в эту ноченьку

Нет у девицы милого дружка.

(входит Батюшков)

БАТЮШКОВ: Как же, однако, у нас... Даже сквозь стены слышно.

ДОМНА: Что слышно, барин?

БАТЮШКОВ: Тишина я волки воют...

ДОМНА: А мы привыкли.

БАТЮШКОВ: Вот и мне надо привыкнуть, коли не везет. Отчего же не везет мне? Во всем, везде. На сей счет есть много резонов. (Насмешливо). Первый резон - мал ростом. Второй резон - не довольно дороден. Третий - рассеян. Четвертый - слишком снисходителен. Пятый - ничего не знаю с корня, одни вершки. Шестой резон - не чиновен, не знатен, не богат. Итак, до бесконечности. А главный резон в том, что - как говорят - мечтатель.

ДОМНА: Барин, не больны ли, не приведи господь? Сами с собой говорите.

БАТЮШКОВ: Не бойся... У меня привычка такая - с собой говорить, думать вслух... О чем думаю, о том вслух и говорю. И я ведь, Домна, сегодня весь день писал. Потому и кажусь больным. Устал.

ДОМНА: Мучить-то себя зачем? Негоже так: цельный день...

БАТЮШКОВ: Надо, Домна, надо, милая. Я буен сейчас: я книгу выпускаю. Вся жизнь моя - в ней. Будет называться: "Опыты в стихах и прозе". Потому и работаю, как сумасшедший. И в радости взываю: О музы! Я пишу! Только ты этого не поймешь.

ДОМНА: Не пойму, барин, где мне... А вот меня-то вы ильинскому барину не продали...

БАТЮШКОВ: Не продал... И что?

ДОМНА: В душу мне запало. Я Митрича-приказчика прошу: обучи меня грамоте, чтоб бариновы стихи читать. А он не учит... Гогочет да пристает... А коли знать бы грамоту, почитала ваши стихи когда...

БАТЮШКОВ: Домна, ты ли это говоришь?

ДОМНА: Я - барин. Почитайте мне стихи, барин. Пусть я и не пойму, а все равно... Снизойдите... Почитайте...

БАТЮШКОВ: Ну и анекдот. Забавно... Что ж... слушай...

В чаще дикой и глухой
Нимфа юная отсталая;
Я за ней - она бежала
Легче серны молодой.
Эвры волосы взвевали,
Перевитые плющом,
Нагло ризы поднимали
И свивали их клубком.
Стройный стан, кругом обвитый
Хмеля желтого венцом,
И пылающи ланиты
Розы ярким багрецом,
и уста, в которых тает
Пурпуровый виноград,
Все в неистовой прельщает!
В сердце льет огонь и яд!
Я - за ней... Она бежала
Легче серны молодой!
Я настиг - она упала,
И тимпан над головой!
Жрицы Вакховы промчались
С громким воплем мимо нас:
И по роще раздавались
Эвое! и неги глас!

(Подходит к Домне ближе) Ну, каково?

ДОМНА: Ой как... Да разве можно писать про такое? (Батюшков обнимает ее, Домна не сопротивляется) Пустите, барин. Грех...

БАТЮШКОВ (отпуская ее) Какой там грех! Только не могу я так вот ... так просто! (Сердито) Я в сад выйду! Как приду - чтоб ужин был готов.

ДОМНА: Слушаюсь, барин!

(Батюшков уходит. Домна продолжает накрывать на стол. Входит с подносом в руках Анфиса).

АНФИСА: Ты чо, девка, раскраснелась-то как? Иль случилось чего?

ДОМНА: Ничего, тетя Анфиса.

АНФИСА: Барин-то на тебя, девка, все поглядывает... Не пристает?

ДОМНА (тяжостно) Ой, не пойму. Хоть бы пристал, что ли!

АНФИСА: Ты чо, девка, чо говоришь-то. Как язык-то поворачивается? В церькву иди, покайся! Что те барин-то?

ДОМНА: Да ведь несчастливый он какой-то. Никого у него нет...

АНФИСА: Нашла кого жалеть, унеси леший. У него в Даниловском отец Николай Львович, болеет... Александра-та Николаевна неспроста в Даниловское пятого дни уехали... А он к отцу к больному не едет. Мыслимо ли дело! Сперва-то он всем показался. Вроде обходительный... Тебя, вона, ильинскому барину не продал... Ильинский-то барин и мужиков на конюшней дерет, и винцо пьет почем зря, и девок у него полон дом... Но лучше нашего. Потому - хозяин. И крепкой - ой, какой хозяин. А наш-то: все книжки да бумажки, а хозяйство - вона! все расползается. Зло, а не человек.

ДОМНА: Да не злой он, тетя Анфиса... Только не такой, как другие. И делает иной раз не по-людски. И живет будто не среди людей. Все ходит, сам с собой говорит... А душа-то добрая у него.

(С шумом в комнату вваливается Яков)

ЯКОВ: Бабы, принимайте гостя!

АНФИСА: Нешто Яков? Приехал!

ЯКОВ: Куду ж я денусь?

ДОМНА: Умерз, дядя Яков?

ЯКОВ: Снаружи-то ничего еще, а внутрях точно, умерз... Дайте-ка погреться.

АНФИСА: Сейчас, сейчас (подает стакан с водкой. Яков пьет)

ЯКОВ: Живо потеплело!

ДОМНА: Ты б разделся, дядя Яков!

ЯКОВ: А вы, бабы, помогайте!

(Женщины помогают Якову снять верхнюю одежду).

АНФИСА: Что там, Николай Львович-то?

ЯНОВ: Хворает. Александра Николаевна, как ее привез, так от него и не отходит.

АНФИСА: Ты про все нашему-та расскажи, как там у них все. Совесть-то у него поди не вся вышла!

ЯКОВ: Да видел я его во дворе, пока саврасого распрягал. Поговорили про отца маненько. А про письмо забыл. (Достает письмо, кладет на этажерку с книгами) Из Череповца привез.

АНФИСА: Письмо - это пустое. Про отца поболе расскажи.

ЯКОВ: Водочки-то еще нету?

АНФИСА: Сейчас, принесу.

ЯНОВ: И одежду оттащить надо! (Анфиса уходит с одеждой Якова) Эх, после холода-то в тепле-то!

(Яков, изловчившись, ушипнул Домну. Та вскрикивает)

ДОМНА: Ты чего, дядя Яков?

ЯКОВ: А я - ничего! (Смеется)

(Входит Анфиса со стаканом и тарелкой. Яков пьет) Золотой ты человек, Митревна!.. А скажи, где у человека нутро?

АНФИСА: Которое нутро?

ЯКОВ: Которому посля водки легше становится!

АНФИСА (хочет): Ишь ты, леший! Выдумаешь!.. Поешьте-ко.

(Яков и Домна берут с подноса пироги, едят)

ЯКОВ: Это ты у нас выдумщица! Расскажь-ка чего-нибудь. Посмеши.

ДОМНА: И впрямь: расскажи, тетя Анфиса!

АНФИСА: И расскажу! Про глупую-та деревню слыхали?

ЯКОВ: А где это - она такая глупая деревня?

АНФИСА: На Шексне-реке. Деревень-то там тьма, а одна - глупая. В ей заместо лошадей - коты да кошки. Заместо коров - куры. Воробыи дрова колют. Мыши с реки воду носют. Тараканы баню топлют. Стоит церквя на

берегу, из пирогов складена. Оладьями повержена. Блином крыта. Ходит у церкви бык печеный, а в боку нож точеный. Кому надо закусить - изволь резать да крошить!

ЯКОВ: Мне бы в деревню ту! Во жизнь! Пей да закусывай!

АНФИСА: Ой, не скажи! Делов-та в деревне ох как много! Бабы на печи репу сеют. Мужики на дворе за бревно ухватились: в разные стороны растягивают, чтоб длиннее стало.

ЯКОВ: Смехота!

АНФИСА: Тянули - не растянули, пошли в избу подкрепиться. Сели за стол рядом, говорили толком, ели кашу с молоком. Каша в комнате - молоко в погребе. За каждой ложкой в погреб бегали. Кашу поели - стали пиво пить. Попили, сапогами подпоясались. Ноги-та за пояс. Пошли к реке. Запели (поет):

Как на Вологде вино:

По три денежки ведро -

Хошь пей, хошь лей,

Хошь окачивайся!

ЯКОВ: Ну, а дале чего?

АНФИСА: Захмелели мужики и Шексну-та подожгли! Горит Шексна-река синим пламенем. Тушат, тушат никак не уймут! (поет)

Но на счастье на тот раз

Приезжает тарантас.

Барин с тросточкой сидит:

На Шексну-реку глядит.

Живо воду затушил -

И там славу заслужил!

Тросточкой и затушил!.. Все и рады. Мужики опять гулять, а девки на берегу: хороводы водить. А средь девок-то одна, хошь и сирота, а такая красота - коса ниже пояса... Барин-то к ней! Шуры-муры - и ночевать у ней остался!

ЯКОВ: Ой, ловкач! Аж завидно!

АНФИСА: Уймись, греховодник. Слушай, чего дале-то было! Начал барин каждую ночь к сироте-красоте захаживать. За сироту-та заступиться некому, да и деревня-та - глупая... Но была в глупой деревне одна умная тетка...

ЯКОВ: Вроде тебя, что ли?

АНФИСА: А может еще и поумней! И стада она замечать: была девка--то в три обхвата толста, а таять стала, будто свечечка. "Отче-го ты, милая, така худа", - спрашивает тетка, "От радости, тетя". "От какой-такой радости?" "А ко мне не простой мужик, барин ходит!" "Ах ты, дура! Какой там барин - это нечистый!" А девка-та не верит... Тетка ей и говорит: "Как придет он к тебе в гости, да сядет за стол, ты урони нарочно ложку, да полезай поднимать. А станешь подымать - посмотри ему на ноги!"

ДОМНА: Глупая у тебя сказка, тетя Анфиса. Слушать неохота...

АНФИСА: А ты - слушай. Та сирота послушала. В первую ночку как пришел к ей барин - уронила под стол ложку, полезла доставать - и увидела: он с хвостом! С хвостом барин-та! Нечистый!

ЯКОВ (шутливо): Накладно, видать, бар-то любить!

АНФИСА: К попу идти надо с таковой-та любовью! Раз на других людей не походит - значит нечистый!

ДОМНА: Тихо! Барин идет.

(Входит Батюшков).

БАТЮШКОВ: Как с ужином?

АНФИСА: Готово все, барин.

БАТЮШКОВ: Ну, ладно. Ступайте... Яков! Говоришь, нехорош Николай Львович?

ЯКОВ: Плох, барин, плох (пауза)

БАТЮШКОВ: Что встали? Ступайте все. Одного меня оставьте!

(Дворовые поспешно уходят. Батюшков садится за стол, что-то нехотя жует).

Надо ехать к отцу... А зачем?.. Говорят, долг. Долг – это когда что-то есть между людьми. А когда совсем ничего нет? А когда совсем чужие. С детства я жил не так как он. И то, что у него было после смерти мамы – с той

женщиной – чуждо мне. А может, я просто оправдываюсь перед собой... Кто это там в углу? Это – ты, мой черный человек? Моя тень, мой двойник. О, боже, опять показалось... Мучителен ты – дар воображенья... А может, это – война во мне? Поверить ли? Наполеон исчез. Париж был взят. Но ничего не изменилось. И разве забудешь могилу Петина? Какая страшная цена за мечты о воинской славе – могила друга. А что я получил от войны? Надеялся на владимирский крест, на гвардию – тщетно! Вокруг столько высокочек, не нюхавших пороху, - в крестах и наградах. А я... я имею все маленькое: маленький чин, маленький рост, маленькую философию и весьма маленький кошелек. И не в кошельке дело, хоть это и важно. Великие запросы, великие мечты. А в жизни моей – все маленькое. (появилась Домна).

ДОМНА: Барин...

БАТЮШКОВ: Домна? Чего тебе?

ДОМНА: Барин (приближается к нему).

БАТЮШКОВ: Да что с тобой?

ДОМНА: Барин! (бросается к нему).

БАТЮШКОВ: Не надо Домна, не надо, милая.

ДОМНА: Эх вы (убегает).

БАТЮШКОВ: (рванулся вслед за ней, и остановился). Зачем я так с ней?

Больно мне... и грустно. Кажется, вот она – рядом, лишь руку протяни. И протягивать не надо. Сама, сама готова... А я... не удается мне такое, не удается. Не удалась жизнь. И разве только у меня не удалась? Людская жизнь не удалась. Все не так. Век железный побеждает. Деньги, деньги, деньги. А все другое – вроде бы бессмыслица. «Дурачья род людской, в луне рассудок твой». А любовь? Как и гармония, любовь настоящая уже невозможна, недостижима. Верилось, любовь спасет меня. Не получилось с Анной, не получилось. И даже с Домной не получается. И молокосос Пушкин, как мне сказывали, смеется над моими любовными неудачами. Говорят, он удачливый распутник, у него все получается. Он, этот сверчок и в поэзии меня обгоняет. Еще мальчишка, ничего не видел, а я Париж брал, нашу

словесность двигал. Где справедливость? И хоть кричи (женский крик). Что это?

(Вбегает Домна, бросается к Батюшкову. За ней Яков).

ДОМНА: Барин, оборони!

ЯКОВ: Дура!

БАТЮШКОВ: Что еще?

ЯКОВ: Да дура она!

ДОМНА: Пристает он ко мне, барин! Не вырваться...

БАТЮШКОВ: Яков... На конюшню отправлю!

ЯКОВ: А хоть на конюшню, барин. Побаловать-то все равно иной раз надо.

БАТЮШКОВ: Я тебе побалую! Шкуру сниму. Пошел прочь! И не смей...

Оставь ее в покое. (Яков уходит). И ты (Домне) ступай.

ДОМНА: Боязно, барин...

БАТЮШКОВ: Чего боязно?

ДОМНА: Не отстанет он от меня. Не послушается...

БАТЮШКОВ: (рассматривая Домну): Да, ты красивая. Если... если бы тебя нарядили в бальное платье, ты бы могла блеснуть не только в здешнем уездном «свете»... Но такого никогда не будет. Присядь-ка. (Домна садится на краешек стула). А меня ты не боишься?

ДОМНА: Нет. Вы – не такой...

БАТЮШКОВ: А откуда знать тебе, какой я, ежели я сам того не знаю. Ходил сейчас по саду – холодно, темно... И мерещиться мне жар солнечный, небо сияет, краски блещут, Рим шумит. И человек умирает, всеми покинутый. Великий человек – Торквато Тасс.

ДОМНА: А кто это – Тасс?

БАТЮШКОВ: Итальянский поэт, Домна. Какие он слагал стихи, божественные стихи. Я знаю, я – переводил его. А его объявили сумасшедшим. И только когда он умирал, признали: да, он поэт, да, он великий! А довели его до сумасшествия. Может, и меня доведут – все и вся. А? Как мыслишь, девка Домна? Вот я сейчас с тобой, а все равно – один.

Страшно, Домна? Ведь во мне черный человек сидит. И одолевает меня – он, черный человек.

ДОМНА: Ой, барин, мне страшно с вами стало.

(Входит пьяный Яков).

ЯКОВ: Барин, отдай девку! По-хорошему прошу: отдай!

БАТЮШКОВ: Ты что, спятил? Да ты совсем пьян, мерзавец!

ЯКОВ: И что? Все равно отдай! По-хорошему!

БАТЮШКОВ: Что? Да ты не настолько пьян, как я вижу! Ты вольничать вздумал! Может ты, мужик, воли захотел, а? Я не забыл, как ты перед Лейпцигом про волю рассуждал.

ЯКОВ: Как бы я один... Не сбылось...

БАТЮШКОВ: Не сбылось...

ЯКОВ: А все же служил и служу вам верно. Но не как раб – как человек. И в бою от пуль грудью закрывал. И случись воля – от вас бы не ушел. Но не как раб... как человек.

БАТЮШКОВ: Знаю, Яков. Молчи, молчи – все знаю. Многое не сбылось. А ее (показывает на Домну) все же... не тронь!

ЯКОВ: Так ведь не нужна она вам барин!

ДОМНА (в слезах): Врешь ты, дядя Яков! Не то ты говоришь!

БАТЮШКОВ: Не то вы говорите... Все – не то. И все вокруг – не то! (срывает шпагу со стены) О, как бы я хотел одним ударом покончить со всем этим – что вокруг... Темень, волки за стеной, тоска, пьяный мужик к девке пристает.. И такая темень вокруг. Но есть же свет, есть же солнце...

ЯКОВ: Барин, виновен я... Выпимши-то забыл. Ведь письмо вам привез. Вон, положил на книжки...

БАТЮШКОВ: Письмо? Эх ты, ирод! (читает письмо) Так... Так... Жуковский пишет... «Открывается блестящая возможность. Если не воспрепятствует министр, то вскорости откроется вакансия на сверхштатную должность в неаполитанском консульстве, которая всенепременно должна достаться тебе. Радуйся, ибо осуществляются мечты свои, столь долго

стремившегося в края Торквата Тасса, под итальянское небо. Вакансия всенепременно откроется, только надобно быть готовым в любую минуту прибыть в Петербург? (растерянно) Что? Как это так?

ДОМНА: Никак, уезжать надо, барин?

БАТЮШКОВ: Уезжать надо.

ДОМНА (будто забывшись и чуть причитая) Барин уедет... Как хорошо-то... Дай бог ему всего-то доброго.... Барин уедет... Как худо-то, каждую ночь на крыльце буду выходить, колокольчик слушать... А ночи-то темные, страшные. И нет никого на целом свете – ни матушки, ни батюшки, ни суженого...

(заглянула Анфиса)

БАТЮШКОВ: Анфиса, забери Домну на ночь к себе. Яков, проспись и готовь отъезд (дворовые уходят)... А я... я поверил, есть высшая справедливость небеса вспомнили обо мне. Ах, Италия, Тасс, море, солнце... Я не просто еду. Я рождаюсь заново. Там я напишу... великое! И что мне какой-то молокосос Пушкин. Его ждет опала, может ссылка. А у меня под итальянским солнцем все начнется заново!

Картина 7-я

Приютино. Анна Фурман только что получила письмо.

АННА: Письмо от Батюшкова. Из Неаполя. (вскрывает письмо, сначала читает мола, потом вслух).

Я с именем твоим летел под знамя браны
Искать иль славы иль конца.
В минуты страшные чистейши сердца дани
Тебе я приносил на Марсовых полях:
И в мире, и в войне, во всех земных краях
Твой образ следовал с любовию за мной

Он по-прежнему любит меня. И после таких стихов, кажется, я сама готова его полюбить. А как же Оом? О, он – мой соблазн (входит Оом).

ООМ: Анна Федоровна, я жду вашего ответа. Вы обещали мне ответить. Согласны ли вы составить мое счастье и стать моей женой? Или нет? Я изнемогаю от неизвестности.

АННА: Антон Генрихович, дозвольте мне дать вам ответ... завтра. Ведь это – событие для меня. А скажите, сможем ли в свадебное путешествие поехать в Италию, в Неаполь? Мне почему-то захотелось это. Но я еще не сказала вам – да.

Картина 8-я

Звучит веселая неаполитанская мелодия.

Неаполитанская квартира Батюшкова. Яков и Домна. Он обнимает Домну. Она не сопротивляется.

ДОМНА: Ну будет, будет... У, ненасытный. Ночи тебе мало. Камин затопи. Зябко что-то.

ЯКОВ: Зябко... Вот она – Италия. Все не как у людей. Зима мне тоже. Ни снега, ни морозца. Солнце ишь как жарит. А в квартире промозгло. И впрямь, затоплю-ка я камин.

ДОМНА: Неспокойно мне. Как приехали сюда, в Неаполь, сколько радости было. А потом скис. С начальством не ладит. Три дня на службу не ходил. Слава Богу, сегодня пошел. (входит Батюшков). Барин? Забыли чего?

БАТЮШКОВ: Нет, Домна, напротив вспомнил. Да, да, вспомнил, что я не чиновник, а поэт. И мне следует не канцелярские бумаги переписывать, а стихи писать. Тем более, здесь, в Италии. Здесь сам воздух насыщен поэзией. Прелестнейшая земля! Солнце вечное, пламенное, луна тихая и кроткая, море вскипающее. Неаполь – прекраснейший город! Но я – русский, и должен писать о России. Я должен писать своего «Бову», создать поэму, достойнейшую нашего народа и Отечества. Яков, почта была?

ЯКОВ: Привезли. Вот возьмите.

БАТЮШКОВ: Ох, целый пакет. От Вяземского (вскрыл пакет). Письмо и книжка. Что за книжка? «Руслан и Людмила», поэма, Александра Пушкина сочинение. Надо же. Уже поэму настрочил. Яков, помнишь Пушкина?

ЯКОВ: Как ни помнить? Шустрый такой, кучерявый, егоза.

БАТЮШКОВ: Это верно. Шустрый. Егоза. Написал два послания мне, а сам норовит столкнуть меня с Парнаса, занять мое место. Я давно почувствовал сию опасность от него. История давняя, я сам, известный стихотворец, поехал тогда к нему, еще мальчишке, дабы познакомиться. Приехал в Лицей. Говорят, болен. Прихожу в лазарет. Сидит на кровати, укрылся одеялом. «Вы – Пушкин?» - «Я – Пушкин». И ничего особенного с виду - на арапчонка похож. От души отлегло. Поговорили о том, о сем. Я спросил его, чего он еще задумал написать. А он говорит – поэму в русском духе, о русском богатыре Бове. Как сказал, так у меня сердце екнуло. Боже, боже – такое сообразил. А ведь России на самом деле нужна своя русская, национальная поэма. И как он додумался? Я ему говорю – отдайте, Пушкин, мне эту поэму. Вы так еще молоды. А первую русскую поэму по старшинству должен написать я. Он засмеялся и говорит: «Берите. У меня других задумок много. Пишите, Батюшков, моего «Бову». Вот так сверчок!

ДОМНА: А как это – сверчок, барин?

БАТЮШКОВ: Прозвище у него такое – Сверчок. В нашем литературном, веселом обществе, в «Арзамасе» его так прозвали. У всех были прозвища. У Жуковского – Светлана, у меня Ахилл.

ДОМНА: А это, барин, кто такой – Ахилл?

БАТЮШКОВ: Античный герой, Домна. Это за мою борьбу со староверами. Но тут двусмысленность. Можно понять и так – ах! хил! И на самом деле, я – ах! хил! Ну да ладно. Я сегодня бодр. Буду Пушкина читывать и своего «Бову» писать. А ко мне, если что – не пускать никого.

ДОМНА: Не пустим, барин. (Батюшков уходит)

ЯКОВ: Пошли-ка, приляжем.

ДОМНА: У ненасытный. Потерпи до ночи-то.

(Звук дверного колокольчика)

ЯКОВ: Кого это несет? (уходит и быстро возвращается, с ним Анна и Оом).

ООМ: Здесь живет секретарь мисси надворный советник Батюшков?

АННА: Антон... зачем ты так?.. (Якову) Скажи, любезный, Константин Николаевич дома?

ЯКОВ: У себя он.

АННА: И можно ли его... повидать?

ДОМНА: Нельзя! Нельзя повидать!

АННА: Он болен? Отчего нельзя?

ДОМНА: Нет, он не болен.

ООМ: Он у себя один?

ДОМНА (смутившись): Один, ей-богу... Но не велено впущать!

ЯКОВ (удивленный): Домна, ты чего... (Оому) Примет он вас, барин. Я доложу.

ДОМНА: Нет, нет! Не пущу! Сказано: никого не пускать! (раскинув руки, закрывает собою дверь).

АННА: Мне, кажется, понятно... (Домне) Бедная ты... Жаль мне тебя.

ДОМНА: Не жалейте, барыня. И понимать ничего вам не надо...

ООМ (Домне): Как ты смеешь, однако! Я тебе...

АННА: Оставь, Антон. Прошу, оставь. Она права. Но если нельзя – так нельзя. Мы просто хотели увидеть хозяина, но не имея возможности, посмотрим его портрет. Ах, это тот самый портрет...

ООМ: Работы Кипренского, однако. Модный художник.

АННА: Не модный, а настоящий. И не каждому дано заказать портрет у Кипренского. Он ведь рисует только тех, кто того стоит. Надо что-то иметь... за душой.

ООМ: Да-с. Не каждому по средствам заказать у Кипренского портрет. Я удивлен...

АННА: Ай! Он подмигивает мне – этот портрет. Вероятно, хочет сказать: «Деньги были и их нет. А меня не было. И я есть».

ООМ: Ты как-то неудачно шутишь, Аннет...

АННА: А я и не думала шутить, Антон. Он действует на меня... портрет Кипренского... Это глупость, но он изволит действовать. Вот я, Анна Оом, сейчас – есть. А потом – меня нет и я – ничто. А он был ничто. Но он есть и будет. Значит, не все проходит.

АННА: Анна, эти странности... Зачем? При слугах...

АННА: Да, довольно странностей... Я тоже хочу иметь право – заказать свой портрет у Кипренского...

ООМ: Ты имеешь право – заплатим ему, сколько запросит.

АННА: О чём ты говоришь... Ты ничего не понял.

ООМ: Я все понял, все... Только что мне остается говорить... Что мне, Антону Оому, обладателю крупного состояния и прелестной жены, остается говорить...

АННА (Домне): А ты передай барину: мы просто хотели увидеться. Ненадолго. Может, всего на минуту...

ООМ: Да, нам некогда. Передай барину: моя фамилия Оом. Мы с Анной Федоровной – запомнила? – совершаём свадебное путешествие: из Неаполя едем в Париж. Сочли возможным заехать...

АННА: Мы напрасно заехали: нам не нужно было заезжать. Не говорите ему, что мы были здесь. Ничего ему не говорите. Ни слова... Пойдем, Антон... А ты (Домне) может быть, не такая уж и бедная.

(Появился Батюшков, в руках у него рукописи).

БАТЮШКОВ: Я благодарен вам, Анна Федоровна и Антон Генрихович, за то, что вы навестили меня. И поздравляю с семейным счастьем. Вы, Анна Федоровна, заслужили семейное счастье, и я очень рад, что вы получили все, что хотели. Подобного я вам никогда дать не мог. А вы, Антон Генрихович, ну какой вы право удачливый. И я признаюсь – вы выиграли наше пари. Да, да, не отрицайте это из деликатности и скромности. Вы женились на моей

невесте, вы все имеете. А я, напротив, ничего не имею. Вот видите – квартира казенная, здесь все не мое. Вот только портрет. Да, это – моя собственность. И вот это тоже – мое: рукописи, стихи. Но ведь стихи, как вы сами, понимаете, это лишь – слова. Не деньги, не состояние, не женщина – лишь исписанная бумага, нечто эфемерное, выдуманное. К тому же и в стихах я проиграл. Вы извините меня, я сейчас несколько возбужден. Да-с. Я сейчас поэму Пушкина прочитал. «Руслана и Людмилу». После нее моя поэма неоконченная «Бова» - лишь повтор. И уже не нужна. Так пускай горит мой «Бова». И другие рукописи пусть горят! (швыряет рукописи в камин).

ДОМНА: Барин! Я вытащу! (бросилась к камину).

БАТЮШКОВ: Не смей! Голыми-то руками. Пускай все горит!

ООМ: Это уже слишком, Батюшков, мы к вам от чистого сердца. А вы... Вы просто невыносимы, Батюшков.

АННА: Он не в себе.

БАТЮШКОВ: Я болен, да? Я проиграл, да? Но слава Богу есть теперь первая своя поэма на Руси. И есть у нас гений – Пушкин. А вы, Антон Генрихович... (иступленно бросается перед ним на колени) Бога ради, прошу вас (тянет к нему руки). Не заключайте пари с Пушкиным! Вы же выиграете пари, непременно выиграете! (Батюшков мечется по комнате).

АННА: Надо вызвать доктора. Мы вызовем (Анна и Оом уходят).

БАТЮШКОВ: Не надо доктора. Причем тут доктор. Пари с жизнью проиграно.

Ты знаешь, что изрек,
Прощаясь с жизнию седой Мельхисидек?
Рабом родится человек
Рабом в могилу ляжет,
И смерть ему едва ли скажет
Зачем он шел долиной чужды слез,
Страдал, рыдал, терпел, исчез.

Яков, Домна, нам вернуться в Россию надо. Яков, вези меня в Россию!

Эпилог

На авансцене Анна.

АННА: Видно мне не написать свои воспоминания. Это не выразить. Это как мелодия, которая внезапно оборвалась. Но все равно, он, Батюшков, повлиял на меня. И это я теперь хорошо понимаю. Я искала и нашла себя. Стала директрисой первого в России Сиротского приюта. И что я... Сам Пушкин говорит, что Батюшков стал его учителем в поэзии (появился Батюшков, встал у окна, повторяется сцена пролога). И более того, я уверена – романтик всегда будет нужен миру.

БАТЮШКОВ: Я нес красивый сосуд. Сосуд упал и разбился. Но я слышу какие-то звуки. Кто-то поет романс, мне неизвестный (звучит романс).

О память сердца! Ты сильней
Рассудка памяти печальной
И часто сладостью своей
Меня в стране пленяешь дальний
Я помню голос милых слов
Я помню очи голубые
Я помню локоны златые
Небрежно вьющихся волос.

АННА: Это его элегия «Мой гений». Она обо мне. (романс продолжается)

Моей пастушки несравненной
Я помню весь наряд простой
И образ милый незабвенный
Повсюду странствует со мной.
Хранитель, гений мой любовь
В утеху дан разлуке он
Засну ль? приникнет к изголовью
И уладит печальный сон.

БАТЮШКОВ: Неужели это я написал?[?] Да, это я![!] О, память сердца.